



— Ну же, давай, не жадничай, — ворчит старик и левой рукой отмахивается от порхающей рядом птицы. — Не всё ж тебе! Маленьким тоже нужно.

На правой ладони старика покачивается довольный воробей, склевывая хлебные крошки с левой. Второй, на коленях старика, расправляет крылышки, подпрыгивает и резко взмывает в небо. Еще один сидит на плече и не интересуется происходящим — может быть, уже наелся. Несколько птиц прыгают на корявом краю проволочной корзины с проросшей картошкой и вокруг миски с уже очищенными от ростков клубнями, стучат клювами, порхают с места на место. Временами с крыши планируют другие и тут же пугливо возвращаются. В удушливой жаре воздух между домом и пристройками неподвижен.

— Калека, чтоб тебя, — ругается старик. Воробей спикировал с водосточного желоба ему на ладонь и снова взлетел, унося в клюве крошку. В голосе старика звучит уважение. Из-за стоящих в стороне мусорных баков выпрыгивает тень, как снаряд, приземляясь на колени старика. Воробьи разлетаются, словно сухие листья в порыве осеннего ветра. Тенью оказывается кот Манди. Старик устало вздыхает, одной рукой гладит голову кота, а другой почесывает ему холку.

— Ну вот! Улетели, — говорит он, а кот притворяется, что все понимает. Кажется, что животное и человек разговаривают... Затем только что наполненный шорохом крыльев проход между улицей и задним двором на время погружается в тишину.

Кот, мурлыча и жмурясь, разваливается на коленях Виктора. Когти передних лап ритмично впиваются в засаленные вельветовые штаны. Стараясь не тревожить кота, Виктор обрывает картофельные отростки. Лоб под козырьком старой вермахтской фуражки блестит от пота. На кровле дремлют распуганные воробьи. Вниз по дорожке спускается, пританцовывая в комарином рое, молодая курочка. Горячий влажный воздух будто чавкает. Больше ни звука. Жаркий июньский день поглощает прохладное утро.

Виктор приподнимает голову и слегка поворачивает ее вправо — прислушивается. Из-под крыши сарая доносятся царапанье, шорохи, скрежет и шуршанье, а в промежутках сдавленное хихиканье и приглушенный детский шепот. Потом все стихает. В большом доме с шумом спускают воду в туалете. Шипя, наполняется бачок. И снова тихо.

Жара. Тишина. Пот.

И вдруг будто из ниоткуда появившийся истребитель разбивает тишину, небо, воздух и полдень, слух, душу, терпение и любовь, надежду, будущее, все... и исчезает. Раскаты машинного грома в небе не затихают несколько минут.

Кот соскакивает с колен Виктора в проволочную корзину и прячется под скамейкой в сарае, тараща оттуда глаза. Воробьи, спасшиеся бегством в кусты бузины, беспомощно порхают и суетятся в листве. Оглушенная сойка врезается в бетонную крышку выгребного колодца и лежит мертвая в лужице крови.

Конец июня 1984-го. Холодная война нагрелась и грозит превратиться в горячую. Борцы за мир во всем мире вооружаются и перевооружаются. Промышленность и политика переживают тучные годы.

Под крышей каретного сарая у мальчишек от ужаса замирает дыхание. Смертоносный шум в небе постепенно стихает. Вздох облегчения:

— Уф! Истребитель! С ума сойти! — познание жизни в детском укрытии продолжается своим чередом, словно ничего не случилось. Совсем ничего.

Внизу по улице катит на велосипедах молодежь, на багажниках — купальные принадлежности.

— Никуда от этих сисек не денешься, — бормочет Виктор, — и от влечения. — Он морщится. — Надо было удовлетворять сексуальное желание, а не о пенсии думать. Денег мне хватает. Но по части секса в обществе нет согласия. Об этом не думаешь, пока нет проблем. И никто не объясняет. Так размышляет Виктор.

Он тихонько отворяет прикрытую дверь сарая. Зайдя, прислушивается. Сверху доносятся пыхтение и сопение, время от времени стоны. В остальном все спокойно. Среди рухляди — повозок, деревянных бочек, деревянных осей с деревянными колесами и изогнутых полозьев деревянных саней — под старой соломорезкой он отыскивает двухметровую деревянную лестницу.

— Раньше надо было подготовиться, сейчас уже поздно, — бормочет он, устанавливая лестницу в углу сарая, где две плохо закрепленные доски на потолке слегка перекошились, образовав щель, куда можно легко просунуть голову.

— Хорошо еще, не тянет на детей, а то позорился бы на каждом шагу.

Перекладина за перекладной он неторопливо взбирается по лестнице.

В деревенской часовне раздается звон колоколов.

— Проклятые монашки, — вырывается у Виктора, и сквозь дыру между досками над головой он успевает заметить трех мальчишек. Они натягивают штаны и, пригнувшись под коньком крыши, пускаются наутек. С громким стуком доски прогибаются и выпрямляются.

«Как большой барабан в день памяти павших воинов», — думает Виктор, и все стихает.

Почему снова так тихо?

Колокола молчат, мальчишек больше не слышно. Виктор стоит, пригнувшись, под деревянным потолком на лестнице. Так тихо!

Ему восемьдесят два, и он еще хорошо видит и слышит. Читает уже двадцать лет в очках, причём в одних и тех же, но больше никаких недугов нет. Только почему так тихо? Хотя бы уж летчик, что ли, вернулся. Внезапно он пугается высоты. «Давай, мышонок, держись, веди себя хорошо», — вертится в голове, и ему становится слегка стыдно. Нащупывая перекладины, он спускается и выходит из сарая.

В доме, по которому он идет, а точнее шаркает, нет и намека на тишину. Суета, громкие разговоры, хлопоты, как всегда и всюду, когда вот-вот приедут гости и делаются последние приготовления. Виктор пересекает кухню, идет по коридору и через шумно бурлящий трактир. Там тоже ни тишины, ни спокойствия, ничего необычного и в то же время нормального, что почему-то так напугало его. Он выходит на веранду со стороны озера и видит, что пароход уже причалил. Судорожно вцепившись в перила, Виктор смотрит на бросивший якорь не далее чем в пятидесяти шагах от берега пароход, огромный, угрожающе близкий, на колеблющейся поверхности. Полная противоположность гостинице с трактиром, у дверей которой Виктор стоит, и уже второй раз у него срывается с языка:

— Проклятые монашки!

Слова исходят из глубины души, не произвольно и не машинально, не потому что чувства нахлынули. Возглас имеет под собой твердую почву, прошел сквозь грунтовые воды, он из старых времен — «Проклятые монашки!», — внутри бурлит.

Это не просто ругательство. Виктор отрекается от всего: от заповедей пунктуальности, от навязанного чувства единения с соседями, от запретов деревенского общества, от оков благопристойности, вежливости и предупредительности. Конец условностям.

Семи выходит из дома и встает рядом.

— Прозевал, как пароход пришел?

— Нет! Чего сразу прозевал, ничего я не прозевал. Монахини не звонили.

Он волнуется и говорит на силезском — языке родины.

— Звонили, — возражает Семи, — я слышал.

— Звонить-то звонили. Потому ты и слышал. Но не когда надо. Не в двенадцать, это точно. Полдень-то в двенадцать, а не в полпервого.

Семи даже не смотрит на него.

— Придется тебе прочитать им «Левит», — бросает он и возвращается в дом.

Хотя перед домом и на улице царит суета, Виктор слышит тишину. С ревом подъезжают автомобили; водители ищут, где припарковаться; кричат и трезвонят велосипедисты, освобождая себе дорогу; с визгом бегут к воде дети; шумно приветствуют друг друга знакомые; пароход тяжелым трубным гудком извещает о скором отправлении. Все это не вовлекает Виктора, который несет вахту на причале. Он все слышит будто издали и неестественным образом, как сквозь вату. Его пучит, кожа чешется, тело не слушается. Он не может сбросить кожу, поэтому уходит.

Он идет ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, идет мимо людей, оставляя их позади.

Семи смотрит ему вслед. Он знает Виктора всю жизнь. Виктор сидел с ним за одним столом, ел ту же еду, читал ту же молитву. Он ходил в тот же туалет, скучал в той же церкви, праздновал Рождество под той же елкой. Виктор не был ни дядей, ни тетей, не был двоюродным братом или сестрой, ни родственником, ни свояком. Но он часть большой семьи, жившей в усадьбе на озере. Единственное, в чем ему отказано, это в доступе к финансовым документам и, когда придет пора, месте в фамильном склепе. Семи хорошо знает его, поэтому замечает, что Виктор сегодня не такой, как обычно.

Виктор доходит до коридора в задней части дома и смотрит в четырехугольное зеркало над раковиной у своей комнаты. Фольга истерлась по краям, только в середине осталось круглое окошко, в котором отражается половина лица. Отражение пугает Виктора еще больше: лоб покраснел, зачесанные назад седые волосы растрепались, глаза чужие. Он смотрит в чужие глаза. Чужие глаза смотрят на него. Он надевает очки, и впечатление усиливается: глаза пугают его. Он больше ничего не слышит. Он видит только чужой страх в своих глазах.

— Как это? — спрашивает себя Семи, который дошел за Виктором до конца коридора и незаметно наблюдает за ним. — Как получилось, что такой крокодил везде следит, не оставляя следов? Пришло время вспомнить!



В последней четверти позапрошлого столетия военная мощь страны пошла на убыль и отступила на задний план, чтобы представилась возможность передохнуть и собраться с силами для воплощения новых замыслов, еще более масштабных и разрушительных. Страна снова сосредоточилась на самой себе и внутренних противоречиях. Мануфактуры превратились в фабрики, одним дав работу, а другим — еще больше богатства и власти. Понадобились специалисты для управления богатством и властью по заказу их обладателей. Так и возник новый средний класс, чьи непоколебимая преданность и стойкое нежелание смешиваться с рабочими, в которых все больше и больше нуждались промышленные центры, хорошо вознаграждались. Это были приспешники и канатоходцы нового, особого, типа, состоявшие на службе богатства, которое в своем развитии стремилось к безграничности и прокладывало путь в безграничные миры. Особенно преуспели

чиновники и специалисты с высшим образованием, у них возникли потребности, которые ранее были привилегией исключительно аристократов и их окружения. Появилось и быстро разлетелось новое слово — досуг. Вилла на выходные, летний отпуск, купание, катание на лодке, путешествия на пароходе — эти слова зазвучали повсюду, и для жильцов квартир, занимавших целые этажи в домах на улицах больших городов, стали обозначать постепенно удовлетворявшиеся потребности. Средний класс на службе развивающегося капитала, который все больше упивался техническими новациями, созданными неуклонно растущим производством, стал источником обогащения и для деревушек на озере. Средний класс открыл и покориł невозделанные земли, прежде казавшиеся бельмом на глазу, к югу от Мюнхена и до Альп. Эта местность начала процветать. Благодаря возможностям для отдыха и загородных прогулок земля давала не только хлеб и молоко, а озеро — не только рыбу. В стоящих на отдалении друг от друга домах крестьянских и рыбацких деревушек на берегу стали появляться деньги, и, чтобы получить их, достаточно было желаний услужить. Маленькие, расположенные на холмах и плохо пригодные для сельского хозяйства участки за огромные деньги продавались состоятельным горожанам, и вскоре над густыми лиственными лесами к северу от Мюльбаха уже высились башенки с эркерами и отвесные фронтоны новеньких ви́лл, открыв крестьянам и рыбакам новые возможности для сбыта продукции. Благодаря деньгам удалось подремонтировать старые, порой даже ветхие, дома и сараи, и в пустые амбары втиснули несколько комнат для постояльцев: наверху, под самой крышей, с окнами на запад и видом на озеро и горы. Прямо перед домом появился новый причал, и без того внушительная и роскошная усадьба на озере стала выше на целый этаж. Так на берегу вырос маленький желтый замок в стиле крестьянского ренессанса; он светился и был



виден издалека, приглашал заглянуть и полюбоваться собой. Это был кулинарный вызов, экономическая провокация, прежние порядки *превратились в дым*. На рубеже веков в деревушку проникло богатство и хорошенько закрепились на берегу озера — и в сознании жителей.

Постояльцы открыли окно в большой мир. Жители тесных домишек так сроднились с ними, что уже не могли без них обойтись. Если получалось, постояльцам освобождали место, а если нет, хозяева сидели рядом. Большой мир просачивался туда, где прежде были туман и земля. Новые порядки приносили новые доходы. Коренные обитатели охотно служили и приспосабливались к чужому — обычаям гостей и господ. Те благодарили, делясь знаниями и взглядами. Вскоре появились завсегдатаи. Жители заважничали. Почувствовали превосходство. Жизнь налаживалась. Однако усиливался внутренний разлад.

И только погода осталась прежней.

Юг постепенно примирялся с севером. Ругательство «пруссак» исчезло из обихода и звучало разве что осенью и зимой в анекдотах, когда рядом не было посторонних. Мюнхен, о котором прежде знали лишь то, что он на севере, стал промежуточной станцией для путешественников, прибывающих издалека, чтобы отдохнуть на озере и в горах. Преодолевая расстояния, которые раньше считались непреодолимыми, они приезжали и устраивались на лето. Шум, который поднялся было в деревне — крики бедноты о свободе и независимости, — постепенно стихал. Богатство пока приносила только работа.

Но, несмотря на все это, в земле, где текли молоко и мед, едва ощутимо росло недовольство. Оно поразило жителей, словно душевная болезнь. Короткие дни пролетали безрадостнее, чем когда-либо. Долгие вечера становились все длиннее. Люди по-прежнему собирались вместе, но радость вечера после трудового дня, дружеские встречи и разговоры уже не грели, как раньше. Жителей одолевала мрачная ску-

ка, они пресытились друг другом и самими собой. Им смутно чего-то не хватало. Они ждали, но не знали чего. Всюду пустота и скука. Скука, скука. Ждали хоть чего-то. Лета. Людей. С тех пор как познакомились с людьми, ждали их. Ожидание началось с ожидания людей. Прежнего общества было уже недостаточно. Без чужих людей, которые придавали смысл лету, жители стали чужими сами себе зимой. Недовольство росло. Право слово, хоть бы что-то произошло!



После полудня 15 августа 1914 года с Альгойских Альп надвинулся грозовой фронт, который к вечеру рассеялся, так и не разразившись дождем. Озеро оставалось спокойным, словно зеркало. Лодки легко скользили по воде, почти не встречая сопротивления. Над озером разносились песнопения во славу Пресвятой Богородицы, а в промежутках — «Аве Мария». Когда репертуар исчерпывался, начинали сначала.

Чуть впереди на самой большой, почтовой, лодке, мощно взмахивая веслами, бороздил спокойную воду силач Диневитцер. Он привык грести. Не реже трех раз в неделю он в любую погоду водил лодку между Зеедорфом и Кластерридом на противоположной стороне озера и перевозил почту с вокзала Кластеррида в деревни, расположенные к югу от восточного берега. Но вовсе не письма и посылки так нагружали лодку, что временами та грозила зачерпнуть бортом воду, а бочонки с пивом по 30 и 50 литров для усадьбы и других трактиров, наряду с прочими громоздкими товарами для владельцев вилл. Эти товары прибывали поездом, и Диневитцер перевозил их, так сказать, попутно, с Зеедорфом не было железнодорожного сообщения. Когда он собирался тронуться в путь порожняком вниз по течению и забрать груз на другом берегу, случалось, что какой-нибудь

крестьянин из Кирхгруба, сбывший быка весом 20 центнеров на скотобойню в Мюнхене, потому что там за него давали на несколько пфеннигов больше, чем мясник в Зеетале, останавливал его и, суля кусок мяса и литр пива, уговаривал взять скотину с собой. Мол, не так уж и далеко до Клостеррида, а сам крестьянин не может поехать: нужно убрать сено, пока погода держится. Иначе он сам отвез бы старину Макса в Зеештадт и поставил бы в вагон для скота. Это же исключительный случай, маленькое одолжение, по знакомству.

— Ладно, — отвечал обычно Диневитцер, — по знакомству можно. Потом молча хватал нервно пританцовывающего быка за кольцо в носу и вел на берег. Там привязывал к столбу на причале и подгонял лодку. Из лодочной хижины, принадлежавшей хозяину усадьбы на озере, выносил чан дробленого ячменя — там имелся запас на такие случаи — и ставил в лодку. Бык жадно набрасывался на корм и уже не обращал внимания на происходящее. Диневитцер связывал передние и задние ноги животного, но не слишком туго, чтобы бык ничего не почувствовал. Узлом подвязывал конец тягового троса к веревке, опутывавшей задние ноги, а длинный остаток троса протягивал через веревку на передних — и внезапно плечом наваливался на тяжелое бычье тело. Бык опрокидывался в лодку на спину, а глуповатое лицо стоявшего рядом с надменным видом крестьянина перекашивал ужас. До того, как у опешившего животного включались защитные рефлексы, почтальон притягивал и прочно закреплял трос, так что передние ноги оказывались привязанными к задним. Все происходило так быстро, что у крестьянина отваливалась челюсть и открывался рот. Бык бился и дергался все полчаса переправы, но встать не мог. Веревки почтальона отнимали у него последнюю свободу: свободу движения.

Ахой, Диневитцер! С тобой я бы познакомился. С остальными, пожалуй, не стоит.

И вот он вел лодку навстречу закату и все громче звучащему колокольному звону на церкви Девы Марии вниз по течению в Клостеррид на шествие со свечами — Диневиццер переправлял четырех членов муниципалитета Кирхгруба и бургомистра Мюллера, которые не имели собственной лодки, поскольку в Кирхгрубе не было нужды в ней, слишком далеко они жили от озера, — как вдруг бургомистр, сидевший на носу, наклонился со спины к гребущему Диневиццеру и прошептал ему на ухо, чтобы попутчики, воодушевленные пением, плеском воды, закатом и звоном колоколов и глухие к прочим звукам, не слышали («Колокольня будто рядом, кажется, что можно дотянуться даже с закрытыми глазами!») — воскликнул стоявший во второй лодке пастор, прервав громкую молитву, и закрыл глаза)... так вот, бургомистр прошептал Диневиццеру:

— Началась мобилизация! Уже две недели как. Ты тут всех в округе знаешь. Завтра придешь в контору и перечислишь мне имена юношей моложе двадцати пяти. Понял?

— Понял, — машинально ответил Диневиццер, продолжая грести. Мысли упорядочились и заполнили голову. Лицо просияло. Мобилизация! Наконец-то!

По всей стране у людей головы распухли от мыслей, а лица засияли блуждающим светом самообмана. Это казалось освобождением, облегчением. Наконец что-то происходит!

Младшему сыну хозяина едва исполнилось восемь, когда старший по приказу кайзера и под ликующие крики соотечественников отправился на фронт. Еще свежо зеленела отава на лугах, и косить собирались не раньше, чем через месяц. Коровы целыми днями паслись на холмах под прищмотром мальчика, а два старших работника вполне справлялись в конюшне. Отсутствие наследника пока не слишком ощущалось в усадьбе, и даже без младшего работника, тоже мобилизованного, кое-как справлялись. Вряд ли это займет

много времени — вправить мозги наглым французам, обтесать неотесанных русских и наказать подлых сербов, на совести которых убийство кронпринца. Это ненадолго. За шесть недель можно управиться. У сестер каникулы в интернате, как раз шесть недель. Они помогут, если будет не хватать мужских рук. Военное предприятие было продумано генералами кайзера. На бумаге все гладко, но подчинится ли жизнь этим расчетам? Радостно и пылко лилась из деклараций и газет песня Отчизны.

— Увидимся через шесть недель, — кричали парни от восемнадцати до двадцати пяти, уходя толпой от колодца в Кирхгрубе в ближайший город, к поезду, который отвезет их в учебные центры, неизвестно куда. У этих учеников войны в сердцах не было страха, лишь радостное предчувствие, своего рода паралич мозга, который начался, когда им сообщили, что увезут их из дома в незнакомые места наконец-то, и все благодаря смелости и дальновидности кайзера.

— Вернемся к середине октября, а то и раньше!

— Ага, будет уже поздно, — кричали провожающие, — мы успеем урожай убрать. Бездельники! Неплохо устроились!

«Это я бездельник! — думал младший сын хозяина. Он сидел на краю крутого откоса, не упуская из поля зрения пасущихся коров, но глядя на озеро. В этот день было видно, как оно простирается до самых Альгойских Альп, неизведанных далей. — Может, брат уже на той стороне гор. А я здесь бездельничаю».

Как жадно смотрел он вслед старшему брату, который шел в строю рекрутов и громче всех пел о прекрасном Вестервальде! Эвкалиптовый леденец. Он помнил вкус и ощущал его во рту. Какая тоска охватила его, когда они с матерью провожали брата в Кирхгруб, какая ненависть на мгновение завладела его душой, потому что мать крепко держала его за руку, а он понимал, что вынужден остаться

дома! Она все сильнее сжимала руку, как никогда раньше, не отпускала до самого дома. Будто он маленький! Несправедливо, что старшим все можно и не надо спрашивать разрешения! Раз война продлится всего шесть недель, он мог бы прекрасно провести каникулы, нося за братом вещи и помогая стрелять. Летом в усадьбе жили дети, которые уезжали из дома сюда на каникулы. А он вынужден был из года в год оставаться здесь, никуда не ездил, и тут в кои-то веки представилась возможность провести каникулы на войне. Не бездельничать дома. Все, кто остался, бездельники. Дезертиры — вот кто они.

Интересно, поймет ли его Мара, она в длинной льняной юбке поднимается широкими шагами по Кальвариенберг-вег. В каждом движении — радость и счастье, подлинное счастье бытия, в одной руке корзинка с его обедом, в другой — кувшин прохладной и чистой колодезной воды, смешанной с яблочным соком. Он почувствовал жгучую жажду. Но притворился, будто не видит Мару. Он погружен в мрачные мысли, и пусть все это знают, даже если все — только Мара. Она расскажет остальным.

— Давай, поешь, — упрашивала она, а он продолжал делать вид, что не замечает кувшин, наполненный стакан и тарелку с румяными кайзершмаррн, посыпанными сахарной пудрой. Все это Мара поставила перед ним в траву на белый платок.

— Не хочу, — упрямылся он, и она погладила его по голове.

— Я насыпала пудры побольше.

— Это было давно.

Он уже не помнит, когда был прошлый раз. И кто знает, когда будет следующий?

— Работать придется больше, а получать меньше, если война не закончится в скором времени, — сказал отец недавно за обедом, после того как с утра они разложили последнюю отаву на просушку, чтобы к вечеру убрать. И ничего не добавил. Прежде чем произнести эти слова, он серьезным

и строгим взглядом обвел комнату, словно собирался произнести речь. Но ничего не добавил. Молча съел обед, отодвинул пустую тарелку и прервал тишину, царившую за столом:

— Я утром был в банке и не смог получить деньги. Что-то тут не так! — сказал он, будто хотел завести простой разговор за обедом.

Была уже середина сентября, обещанные шесть недель прошли, а ни старший сын, ни работник не вернулись. Неделю назад забрали пару лошадей. Для работ остались только две лошади, а денег в банке больше нет. Что-то тут не так. Эти слова засели у всех в голове, когда они встали из-за стола, чтобы снова приняться за работу: что-то тут не так.

Когда работники и прислуга ушли, хозяин жестом попросил жену и трех дочерей остаться.

— А ты ступай делать уроки, — велел он Панкрацу. Тот понял, что будут обсуждать секреты, и остался за дверью подслушивать.

— Спальня с сегодняшнего дня на замке. Ключ у меня. Вся выручка теперь дома. Иначе не сможем вести хозяйство. И я хочу, чтобы это осталось между нами. Работников не касается, что деньги в доме и где они. Понятно? — строго спросил он, и все молча кивнули. — И Панкрацу знать не нужно. Он еще слишком мал. Пока не поймет. Только разболтает.

Сестры после обеда отправились на велосипедах в Зееталь, на роскошную виллу отставного ротмистра графа Шранк-Реттиха. Старшая дочь графа через три недели после начала войны разослала в лучшие дома округа письма, в которых призвала взрослых дочерей достойных семейств «всеми силами души» поддержать Отчизну, предоставив ей женскую рабочую силу, чтобы слава грядущей победы досталась не только мужчинам. Сама она предоставила свою гостиную, и девушки дружно шили постельное белье, распевая патриотические песни. Здесь же организовали курсы

для санитарок, и постепенно мажорные мелодии в песнях дочерей достойных семейств сменялись минорными.

— Давай, ешь, — просила Мара уже настойчивее, — мне нужно домой, дел невпроворот.

«Дурацкое выражение», — подумал Панкрац.

— Отвернись, пока я буду есть.

— Хорошо, — она обратила приветливое лицо к горам. — Я буду смотреть на колокольню Клостеррида и считать до ста, а ты все съешь, ладно?

— Ладно.

— Не забудь помолиться, — напомнила Мара и, когда он наспех пробормотал что-то, принялась считать. Тарелка опустела уже на счете «семьдесят», и он, сияя, смотрел, как она, не оборачиваясь, считает дальше. Закончив, Мара собрала все в корзинку, снова погладила его по голове и босиком, как и пришла, побежала по проселочной дороге вниз к дому.

Кувшин она оставила.

Мальчик встал, побежал за коровой, которая забрела на соседский участок, и загнал ее обратно в стадо. Вернулся, достал школьные принадлежности. Пора братья за уроки.



— Тони, сын хозяина усадьбы на озере, сейчас в лазарете в Мюнхене. Ранение в голову.

— Он что, без шлема был?

— В шлеме. Все равно.

— Да что ж будешь делать. Случится же такое!

— Пастор сказал, он тронулся. Не в своем уме, — и Диневитцер покрутил пальцем у виска.

— Ого!

— Папа, а что такое Мюнхен? — спросила маленькая Тереза, повернувшись к Диневитцеру спиной. Не удостоила его взглядом.



— Город такой, — ответил дочери Лот, крестьянин из Айхенкама, и обратился к Диневитцеру:

— И как же они теперь?

— Похоже, хозяину придется сделать наследником младшего. А как иначе?

— Похоже, — согласился Лот, а потом спросил застывшую рядом девочку:

— А тебе что?

— Ничего.

Но это было неправдой. Тереза взволнована и очень расстроена. Диневитцер, войдя в дом, мимоходом поприветствовал ее: «Привет, малышка с большой головой!» — и прошел в кухню к ее отцу, чтобы рассказать ему новость. Она тут же помчалась вниз по лестнице в комнату и бросилась к зеркалу. На глазах выступили слезы, голова и правда казалась большой; из-за шуточек Диневитцера девочка смотрела на себя по-другому, она была еще слишком мала и не понимала колкостей старших. Отец продолжал говорить с полным энтузиазмом Диневитцером о простреленной голове Тони:

— Наверное, пуля пробила шлем, — потом обратился к Терезе: — Сходи к матери, может, ей что-то нужно.

Отослав вернувшуюся было девочку, Лот повернулся к собеседнику. У того был ворох новостей. И все с войны. Он рассказал о несметном количестве убитых и тяжелораненых — всё близкие и дальние знакомые, жившие по обе стороны реки. С ампутированными руками, лишившиеся ног, с изуродованными лицами, каких только нет. У одного, слышал Диневитцер, голова и туловище целехоньки, но нет ни рук, ни ног. Сам его не знает.

— Слава богу, — заметил Лот. — Радуйся.

— Даже покончить с собой не сможет, — сказал Диневитцер.

Иногда крестьянин переспрашивал, если не сразу понимал, о ком речь. Про многих он только слышал, но почти все, о ком рассказывал почтальон, были из крестьянских семей,

Лоту они казались ближе других, он сочувствовал им сильнее. С кем-то мог и встречаться. Он понимал, как трудно приходится семье после потери работника и какое это горе.

Девочка тихонько вошла в чистую комнату, где на диване, который старшая сестра приспособила под кровать, в лихорадке лежала мать. Два дня назад она в хлеву неосторожно наступила на вилы, и зубья проткнули ей вену. «Кровь хлестала фонтаном, — рассказывала старшая сестра доктору, за которым отец съездил в ближайший город на рыдване, — пол в хлеву был такой, будто теленка забили». Когда доктор уехал, мать упрекала отца, что тот из-за такой ерунды поехал за доктором. Мол, в хозяйстве подобное случается сплошь и рядом. Сейчас, когда с деньгами туго, как уже давненько не бывало, им ни к чему расходы на доктора. Повязку бы и Мария наложила, а больше ничего не надо. На следующее утро матери стало плохо, когда она доила корову. Опершись на подоконник, мать неловким движением опрокинула горшок с молоком. На лбу выступили капли пота, она медленно сползла по стене и смотрела странным, застывшим взглядом. Совсем как сейчас, когда Тереза спросила, правда ли, что у нее большая голова. Мать не отвечала. Она смотрела перед собой и не двигалась, хотя сидела в постели прямо, прислонившись к двум большим подушкам.

— Хочешь еще укол, мама? — спросила Тереза. — Сказать папе, чтобы он опять привез доктора?

Мать по-прежнему смотрела вперед, и дочь помчалась в кухню. Пусто. Отец и Диневитцер ушли. Тереза побежала во двор, ища хоть кого-нибудь. Того, кто избавит ее от чувства вины. Взгляд матери жег девочку изнутри. «Возможно, заражение крови», — сказал доктор Пачи, когда приехал делать второй укол. После укола взгляд матери стал нормальным. «Пусть доктор опять сделает маме укол, — думала Тереза, — очень страшно, когда она так смотрит. Пусть доктор уколом заставит этот взгляд уйти». «Папа, папа!» — кричала она. Из

сарая вышла сестра Сюзи с потным лицом, черным от сена и пыли, и отругала Терезу за то, что та громко кричит:

— Рита еще спит! Ты разбудишь ее воплями.

— Мама опять так смотрит, — сказала Тереза, и на душе полегчало, рядом была сестра. Хоть и ругалась.

Сначала они пошли в комнату, а потом разыскали отца. Постепенно собрались все дети. В том числе трое младших. Из города снова приехал доктор. Но мать уже умерла. От столбняка, так им сказали. Из-за него и был застывшим взгляд. Тереза представляла, что такое столбняк, лицо матери стояло у нее перед глазами.

Лот больше ни разу не разговаривал с доктором Пачи и сам, безо всякой помощи, воспитал семерых детей. Терезе тогда почти исполнилось пять.



Поговаривали, что сразу после выписки из лазарета было ясно: от Антона, сына хозяина усадьбы на озере, проку не будет, пуля, попавшая в голову, повредила рассудок. Впрочем, разве странности, которых раньше не замечали, появились не почти у каждого, кто вернулся с войны невредимым? Даже у тех, кто не получил ранений?

Нет, нет, каждого, кто побывал на фронте, настиг хотя бы один выстрел. Каждого! И необязательно пуля. Все были выбиты из колеи, большинство так или иначе повредились умом. Но что правда, то правда: странности Антона сильнее бросались в глаза, и дело было не только в мрачном фанатичном взгляде, от которого у встречающих мороз шел по коже и которого прежде в помине не было. Глаза Антона горели мрачным фанатизмом, когда он выступал с речью перед членами народной дружины в большом зале трактира Хольцвирта в Кирхгрубе или приказывал отряду дружинников, которым командовал, подняться по Кальвариенберг на